

Бочаров С.

## [Сцена охоты]

*Отрывок из книги*

«Война и мир» вспоминается яркостью эпизодов, отдельных картин, каждая из которых много значит сама по себе. Охота и святки, первый Наташин бал, лунная ночь в Отрадном и девочка на окне, встречи князя Андрея со старым дубом, гибель Пети Ростова... Так отдельными яркими кадрами встает в нашей памяти эта книга. Отдельные эпизоды, конечно, служат общей связи романа, вписаны в обширное целое, но внутри него по-своему автономны, завершены. Жизнь, которую рисует Толстой, очень насыщена в каждой точке. Эпизоды самые разные, относятся ли они к «войне» или «миру», «исторической» или «семейной» линии, эстетически равноценны, ибо в каждом очень полно выражен существенный смысл жизни и ее борьба. В общем плане романа эпизод важен не только как определенная ступень к определенному итогу, он не только продвигает действие и является средством, чтобы «разрешить вопрос», — он задерживает ход действия и привлекает наше внимание сам по себе, как одно из бесчисленных проявлений жизни, которую учит любить нас Толстой.

Вот, например, знаменитая сцена охоты. В нашей памяти встает это серое осеннее утро, когда смоченная дождями земля подернута первыми морозами, это волнение борьбы, владеющее всеми участниками охоты, напряжение сил физических и душевных, которого требует от охотника поединок со зверем. То чувство особо приподнятой жизни, которое переживают на охоте Николай и Наташа Ростовы, передается нам, читателям, и заражает нас. Мы понимаем Николая, когда он, стоя в засаде, с страстным отчаянием молится о том, чтобы волк вышел на него. Николаю кажется в этот миг, что ему ничего больше не нужно в жизни: только один раз бы затравить матерого волка, не надо другого счастья.

Здоровье и сила, полнота жизни и радость борьбы — вот впечатление от этой картины. Толстой сделал то, о чем говорил как о цели художника и чего желал для своего искусства: люди читают и будут читать его рассказ об охоте и «полюблять жизнь». Всмотримся, однако, в картину охоты и постараемся понять: чего писателю стоит этот эффект, который так сильно действует на читателей. «Полюблять жизнь» — можно подумать, что это созерцательное, пассивное состояние. Однако мы уже видели, через какую борьбу приходит к героям полное ощущение жизни. В «Войне и мире» много счастья, тепла, уюта, но даже самые полнокровно-счастливые сцены в ней — не идиллии. Не идиллична и сцена охоты.

Пробудившись и выглянув в окно, молодой Ростов увидел утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты. И Наташа тотчас является с убеждением, что нельзя не ехать. Это убеждение разделяется всеми: и ловчим Данилой, который хотя и отвечает послушно своему барину: «Как прикажете!» — но видно, что ему хочется самому, и охотничьими собаками, которые, завидев хозяина, бросились к нему в возбуждении, понимая его желание. С первых минут этого дня все живут в особенной атмосфере, с острым чувством неповторимости того, что происходит. В картине охоты все единственное в своем роде, все в превосходной степени — например, «тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас и самый тонкий тенор». Люди с каким-то восторгом чувствуют, что в их жизнь вошла необходимость, которой радостно подчиниться, ибо она диктуется, кажется, самим состоянием природы: такое утро, что нельзя не ехать. Именно так: не можно поехать, не хорошо бы поехать, а нельзя не ехать — драгоценное ощущение, откуда совсем исключено колебание и сомнение, ибо нет

места случайностям, произволу личных желаний, всегда относительных. Есть несомненность, императив, повинуюсь которому человек не подавляет свою дорогую свободу, но который, напротив, словно высвобождает подлинность личных стремлений. Есть единокордшие, есть такая уверенность в поступках и целях, какой люди не знают в обычной жизни. Оттого на охоте такой порядок, прекрасная согласованность. «Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шуму и разговоров, равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшими к отрадненскому лесу».

Да, конечно, охота — это игра, развлечение. Но было бы очень большой ошибкой по этой причине не брать всерьез те чувства, которые вызывает в людях эта игра. Живя повседневно в запутанности частных, несопадающих интересов, люди тайно желают, пусть даже не сознавая того, жаждут испытать то умножающее силы и дающее счастье (если даже оно сопряжено с опасностью, как в 12-м году) состояние уверенности, когда ясно и несомненно, что надо делать, так, как нельзя не делать этого. Почему, бросив дом и имущество, уезжают люди из оставляемой французам Москвы? «Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было», хотя не сумели бы объяснить почему. «Они ехали потому, — объясняет за них писатель, — что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего».

Недаром через «лабиринт сцеплений» его тайными ходами тянется ниточка связи между состоянием людей на охоте и состоянием людей во время большой войны, причем, что важно, войны освободительной, необычной, которую решают не армии, а народ. «Охота, — пишет М. Лифшиц, превосходно разобравший эту толстовскую сцену, — благородный пережиток тех времен, когда простая жизнедеятельность животного соединялась с первыми шагами общественного труда. Замечательно, что по мере развития цивилизации охота не исчезает из поля зрения человека, она только становится более свободной от чисто утилитарного назначения, приобретает известную самостоятельность как полезная игра сил». И дальше: «В глубокой древности охота была общественным делом людей. Когда общество разделилось на классы, она стала привилегией господ вместе с ношением оружия». Действительно, не только само занятие охоты — господская привилегия, но и то сильное и острое чувство жизни, ради которого устраивают охоту дворяне — герои Толстого. Но разве сознание этого обязывает нас с уличающей подозрительностью читать про охоту в «Войне и мире», подобно вульгарному социологу<sup>1</sup>? Развитие цивилизации идет противоречиями, в дворянской культуре сохранялись многие ценности, имевшие обще-человеческое значение. Дворяне Ростовы — не аристократы, они — патриархальные гос-пода, близкие, по Толстому, к «естественной» жизни, от которой оторвалась аристократия. Кроме того — и это самое главное, — охота, будучи привилегией, вследствие того как раз, что она вызывает в людях чувство истинной жизни, создает для них, как мы увидим, новую, необычную ситуацию, в которой теряют значение привилегии и устанавливается стихийно — на время охоты — другая мера вещей.

К охоте Ростовых протягивается традиция из далеких времен, когда охота была столь же важным для всего общества делом, как защита против враждебного племени. То и другое дело требовало одинаковых качеств от человека, то и другое было связано с опасностью и возможностью гибели, и то и другое было освящено первостепенной общественной необходимостью. В эпоху Толстого переключка между охотой и поведением людей на войне имеет глубокий характер; ведь это война, необычная в новейшей

<sup>1</sup> Вульгарная социология видела в «мирных», семейных сценах «Войны и мира» «лишь, апологию дворянского быта».

истории, война «не, по правилам», не фехтовальным оружием, а дубиной. Эта война возрождает по-своему древний обычай, защиты своей земли не государством и его орудием — армией, но всем народом («Всем народом навалиться хотят», — слышит Пьер накануне Бородина от раненого солдата), всем «миром» — громадной общиной, какой у Толстого является русская нация в 1812 году. Толстой показывает, как в ходе этой войны от нее отпадают, оказавшись бессильными, выработанные столетиями цивилизации государственные способы ведения войн, как уезжает из армии государь и приходит неугодный царю, но нужный для этой войны Кутузов.

Герои Толстого в другую эпоху имитируют древнее серьезное дело охоты, разыгрывают ее. Причем играют они действительно ответственное дело, очень всерьез, не играют, а живут в этом представлении, — играют так, как играют дети — «взаправду», хоть и зная отличие игры от практической жизни. Для детей игры — важные занятия, играют только взрослые, — заметил Барбюс. Толстой и в «Войне и мире», и в других своих книгах, более поздних, показал, как играют взрослые люди — в политику, государственные занятия, как Сперанский с его комитетами и комиссиями — в войну, как царь Александр при Аустерлице, как Пфуль и Бенигсен на военных советах — в историю, как Наполеон — в различие положений, господство одних людей над другими и т. п.

Но игра в охоту — другое дело. Вспомним Ростова-охотника «с строгим и серьезным видом, показывавшим, что теперь некогда заниматься пустяками». Вспомним другого участника — дядюшку, как он неодобрительно отнесся к присутствию Пети с Наташей. «Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты». Настоящие охотники, всем существом своим постигнувшие глубокий смысл этого обряда, строго следят за соблюдением его ритуала, они почти что священнодействуют. Для этих специалистов охота, перестав быть утилитарным занятием, стала искусством. А ведь само так называемое высокое искусство, в развитом человеческом обществе — какая-то форма необходимой людям игры, без которой нельзя прожить; это такое важное дело, которое одновременно является развлечением, и в этом отличие искусства от прочих важных занятий взрослого человека. На этом основавшие некоторые люди «практической складки» даже смотрят свысока на искусство, ибо надо отделять дело от развлечения, — считают они.

Если, однако, с такой страстью разыгрывают охоту герои Толстого, видимо, значит, жива потребность удержать и сохранить в форме этой игры какую-то ценную для человека традицию.

Вот старый граф на охоте — «на своей гладкой, сытой, смиренной и доброй, поседевшей, как и он сам, Вифлянке». Все, что относится к лошади, характеризует ее хозяина, говорится вместе о людях и тварях как о чем-то едином. И волкодавы у графа «так же зажиревшие, как хозяин и лошадь». А как показан объект охоты — матерый волк? Он показан как человек, и преследующие его собаки тоже: «Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам... В ту же минуту... с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая...» И вот исход этой борьбы: «Очевидно было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь все кончено». Человек и звери уравниваются в понимании главного. А соревнование, в котором, с одной стороны, «небольшая чистопсовая, узенькая, но со стальными мышцами» красавица Ерза, гордость богатого охотника Илагина, за которую он отдал три семьи дворовых крестьян, а с другой стороны — дядюшкин красный, торбатый кобель Ругай? Ведь это собачья аристократия и патриархальная демократия, соперничают жизненные принципы, и победа Ругая, которая кажется обязательной в атмосфере этой охоты, сливается с социальным торжеством небогатого дядюшки; сама природа поддержала его: «вот собака... вот вытянул всех, и тысячных и рублевых — чистое дело марш!» (На обратном пути от дядюшки Николай фантазирует, что если бы Ругай, похожий на дядюшку, был человек, то он бы дядюшку держал у себя, — и эти фантазии с оборотничеством очень понятны в атмосфере охоты, навеяны ею.)

Люди ярко живут на охоте, и напряжение страстей таково, что, кажется, все должно «разорваться и измениться» вплоть до человеческой речи, ибо обычному языку уже не под силу выразить перипетии борьбы. Оказывается, существует специальный строй языка, и он появляется в авторской речи с первых же строк эпизода охоты, в описании времени года: «Русак уже до половины затерся (перелинял)...» Автор не показывает только охоту со стороны, он сам охотник в том языке, которым ведется рассказ, так что его собственное отношение к происходящим событиям глубоко серьезно и очень заинтересованно. Автор будто предполагает в читателях понимающих охотников, а для непосвященных он словно из снисхождения в скобках дает перевод специальных терминов. Иногда перевода нет, он и не нужен: «Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил».

Какое великолепное торжество в этом непонятном слове — именно благодаря его непонятности, выражающей так совершенно дядюшкин триумф и жизненную справедливость, будто предрешившую его победу над «тысячными» охотниками, — что всякое общедоступное слово здесь будет неточным и слабым. И когда Николай мысленно поправляет строго сестру: «Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», — он оберегает тот уровень понимания и контакта, который возможен между охотниками и символизирован, в частности, их особым жаргоном. В самом деле, послушаем, как звучит диалог охотников: их зашифрованная речь для нас поэтична, ибо мы чувствуем в ней редкое соответствие мысли и ее выражения и редкое понимание:

«— Ругай, на пазанку!., Заслужил, чистое дело марш!..»

— Она вымахалась, три угонки дала одна...

— Да это что же впоперечь!..»

— Да как осеклась, так с угонки всякая дворяшка поймает...»

«В то же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время».

Если бы это было в другое время! Время охоты — особое время со своими законами (подобно «карнавальному» времени, в которое разрешается и возможно в средневековом карнавале такое, что невозможно, запрещено всегда). На время охоты устанавливается стихийно иной жизненный строй, отношения исправляются, смещаются роли, сдвинута привычная мера во всем — в эмоциях, поведении, даже разговорном языке. Через этот глубокий сдвиг и достигается «настоящее», полнота и яркость переживаний, очищенных от затуманивающих и заслоняющих интересов той жизни, какая ждет тех же людей за пределами особого времени охоты. Основополагающая для «Войны и мира» ситуация проступает также и в сцене охоты — а ведь на внешний взгляд она покажется просто мастерски сделанной живописной картинкой, невинной зарисовкой помещичьего быта.

Игра игрой, а у читателя впечатление, что с началом времени охоты как раз кончается время, когда придают много веса игрушечным вещам, и вступают в силу действительные соотношения. Вот еще дома Николай, почувствовавший охотничий зуд, встречает Данилу, который, сняв шапку, презрительно смотрит на барина. «Презрение это не было оскорбительно для барина: Николай знал, что этот все презирающий и превыше всего стоящий Данило все-таки был его человек и охотник». Николай и Данило сейчас находятся как бы одновременно в двух разных мирах: уже настало утро охоты, но охота еще не началась. В их узаконенных отношениях — господина и крепостного, которые сознают они оба, — уже проглядывает закон других отношений, по которым Данило имеет право презирать своего господина. Данило в кабинете у Николая, несмотря на то что он невелик ростом, производит такое впечатление, будто «видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни. Данило сам это чувствовал и, как обыкновенно, стоял у самой двери, стараясь говорить тише, не двигаться, чтобы

не поломать как-нибудь господских покоев, и стараясь поскорее все высказать и выйти на простор, из-под потолка под небо».

Пропорции уже смещены, и в реальном изображении сквозит фантастический элемент, как будто пришедший в современный роман из поэтики героического эпоса, из былины. Измерения и масштабы изменяются у нас на глазах; фигура крепостного охотника видится как бы двойным зрением сразу. Зрительно, по своим бытовым очертаниям небольшая и скромная, она, однако, по ощущению обретает богатырский размер, далеко перерастая комнатные границы и выходя на простор, на волю, отчего является опасение за стены, которые, кажется, будут разломаны — хотя великан, о котором идет речь, смиренно стоит у одной из этих стен, около двери, ростом не доставая ее. Подобные превращения происходят с Данилой; вот он на охоте: «Голос Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле». Наконец, в критическую минуту погони за волком словно поменялись местами граф Ростов и его крепостной. Старый граф прозевал, и разъяренный Данило, в глазах которого молния, грозит ему поднятым арапником и обругивает крепким словом. И граф стоит как наказанный, тем признавая за Данилой право в эту минуту так обращаться с ним. Зато когда дело окончено, борьба позади, Данило перед барином снова — со сдернутой шапкой, застенчивой и «детски-кроткой и приятной улыбкой». В нем не узнать теперь того решительного и властного человека, который только что был хозяином охоты. Теперь у него только один небольшой свой природный размер и рост, — тот, что предписан ему его социальной судьбой. Нет больше эффекта преобразования почти фантастического.

А теперь перенесемся еще раз от сцены охоты к большому миру всей эпопеи: поведение ловчего на охоте не есть ли в миниатюре прообраз ситуации двенадцатого года? Разве не близок всему Данилиному облику образ «дубины народной войны»? На охоте, где он был главной фигурой, от него зависел ее успех, крестьянин-охотник всего на мгновение становился господином над своим барином, который на охоте был бесполезен. А вот что говорит писатель о бессильных попытках администратора графа Растопчина направить в страшные дни падения Москвы уносящий его стихийный поток событий: «до тех пор, пока историческое море, спокойно, правителю-администратору, с своей уютной лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самомудвигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека».

Почему в батальных сценах, а также в военно-исторических анализах автора так часто всплывают сравнения из мира охоты? «С чувством, с которым он несся наперерез волку», Ростов несется наперерез французским драгунам в Островненском деле. В бою он делает все, «как он делал на охоте, не думая, не соображая». А много раз повторяющееся сравнение французской армии после Бородина с затравленным зверем и Кутузова — с опытным старым охотником, — ведь это развернутая притча, это же «Волк на псарне» Крылова: «Ты сер, а я, приятель, сед». Известно ведь, что эта басня — аллегория событий 1812 года. Не в том, разумеется, дело, будто Толстой сознательно разрабатывал мотивы крыловской басни. Но объективная, помимо сознательного намерения возникшая перекличка мотивов очень красноречива, Мы с изумлением убеждаемся в том, сколь много из самого главного в содержании грандиозной книги Толстого вобрал в себя один эпизод, да еще такой, который по первому взгляду слабо связан с центральной темой «Войны и мира», какова емкость этого одного эпизода, сколько таится в нем скрытых параллелей и связующих нитей, расходящихся по всему огромному миру романа и образующих крепость его «сцепления».

---

В одном из черновых набросков эпилога «Войны и мира» Толстой, объясняя, зачем понадобились историко-философские части, заявил, что если бы не было рассуждений, то не было бы и описаний в его романе. «Только потому так серьезно описана охота, что она одинаково важна...» Далее в рукописи — два неразобранных слова, но главное сказано: сцена охоты потому дана так серьезно, что в романе, где изображаются громкие события истории и много философских рассуждений, она одинаково важна.